

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ОППОЗИЦИИ «ИДЕНТИЧНОСТИ» И «МЕНТАЛЬНОСТИ»

По-видимому, понятия «идентичность» и «ментальность» в предлагаемой для дискуссии теме «Европейская идентичность и российская ментальность» разделены не случайно. Современная социальная философия чаще всего помещает нынешнее западное общество в постиндустриальную эпоху, в которой по определению человек — его идентифицируют еще и как «пост-модерного» человека — слишком сложен, слишком полифоничен, полисубъективен, чтобы можно было говорить о его **ментальности**, если понимать ментальность как некий сводимый к одному или нескольким центрам **текст**, расположенный на самом глубоком, самом латентном уровне **социального**, т. е. диктующего субъекту **социальные** действительностные установки **коллективного** бессознательного. Такой латентный текст по-разному расшифровывался в культурологии XX в. Можно вспомнить о «прафеноменах» Шпенглера, о юнгианских «архетипах», об «экзистенциалах» Хайдеггера, в которых бытие так или иначе раскрывалось в разные времена и для разных народов как некое коллективное здесь-бытие, о бинарных мифологических структурах Леви-Строса.

Все эти интерпретации коллективного бессознательного, будучи ориентированными прежде всего в направлении исторического прошлого, в то же время не отменяли понятия «ментальность» и в отношении современных социумов, в частности предполагали наличие «европейской ментальности». Однако появление «символического» бессознательного Жака Лакана или, вернее, освоение этого понятия многими психоаналитическими и философскими дискурсами в 60-е гг., можно признать новой точкой отсчета, обозначившей тот момент в истории культурологической рефлексии, когда бессознательное превратилось в бесконечное разнообразие порожденных культурой «языков», не сводимое ни к «архетипам», ни к коллективным «экзистенциалам», ни к «исчислимому» набору мифологий.

Пользуясь другим понятием из той же, лакановской, парадигмы, можно интерпретировать программно затрудненную для понимания, но все же настойчиво требующую интерпретаций сквозную идею структурного психоанализа как констатацию находящимся в процессе вечного уточнения собственной идентичности «воображаемым» своего абсолютного разрыва с тем бессознательным, которое суть человеческая **экзистенция**, т. е. истинное человеческое **бытие**. Человек может **экзистировать**, сотворяя при этом **смыслы**, в частности осмысляя свое или чужие «Я», но все **рациональное**, все **смыслы**, ставшие смыслами для «Я», отделены непроницаемой стеной от той своей (и тем более от чужой) протекающей в некоем бытийном времени «комбинаторики означающих», которая есть **действительное бытие субъекта**, его экзистенциальная истина.

Недостижимость лакановским субъектом своей экзистенциальной первоосновы интересует нас в данном случае не столько как теория-в-себе, тем более, по «замыслу» самого Лакана, «отсутствующая», но — повторим еще раз — она обозначает, по нашему мнению, тот момент в истории культурологической рефлексии, когда европейская культура оказывается настолько полифоничной, что ставится под сомнение сама возможность идентификации «ментальности современника». В то же время культурологическая и социологическая рефлексии отнюдь не отказываются от идентификации той, другой, ипостаси «символического» бессознательного, которая, не будучи «комбинаторикой означающих», «экзистенциальной истиной», существует как некий синхронический, статичный **порядок культуры**, отвечающий за «естественные установки» и «обыденные» формы поведения, проявляющиеся прежде всего в процессах коммуникации. Это то символическое, которое вполне «по зубам» расширяющему свои владения, т. е. стремящемуся к углублению **понимания своей идентичности**, воображаемому. Переводя понятия Лакана на язык Фрейда, можно сказать, что такое **обретение идентичности** — это «Я», постигающее «Сверх-Я».

Именно на данном уровне обнаруживается, кажется, главная на сегодняшний день оппозиция европейской идентичности — то инвариантное бинарное основание коллективного воображаемого («Сверх-Я»), позитивной стороной которого выступает толерантность, а негативной — фундаментализм. То-

лерантность, унаследовав от предшествующих этапов западноевропейской культуры темы отчужденности и диалога, соединила эти две версии отношения «Ты» и «Я» в некий «диалог отчужденных» (такой «диалог отчужденных», по-видимому, происходит и внутри одной субъективности, принимая форму «доброй иронии» по отношению к любой своей собственной «истине»). «Диалог отчужденных» — это отказ от присвоения Другого, признание личностного многообразия в качестве этического закона и, как следствие, некая отчужденность от Другого. Соответственно фундаментализм — это то, что выступает за унификацию, исповедует единообразие как непререкаемую этическую норму. Толерантность, будучи в определенном смысле отчужденностью, двояко воспринимает эту черту своего характера: католическая традиция и родственная ей персоналистская традиция стремятся вернуть толерантность в лоно диалога (такое стремление, в данном случае **авторское** стремление, по нашему мнению, прочитывается во многих современных западноевропейских фильмах, в частности в «Комнате сына» и «Амели»); протестантская традиция, наследниками которой являются многие линии экзистенциализма, отрицает возможность «диалога» и соответственно относится к «толерантной отчужденности» как к трагической для человека необходимости его Судьбы (такой, на наш взгляд, может быть одна из интерпретаций авторской версии фильмов Ларса фон Триера).

Другая проблема толерантности связана с тем, что, выступая **против** фундаментализма, она входит, таким образом, в напряженное состояние своей внутренней противоречивости, ибо проявляет себя вовсе не как терпимость, т. е. обнаруживает границы своей диалогичности. Результатом такого обнаружения собственной ограниченности становится все возрастающая подвижность границ. Многие «конфликтующие понятия, например «глобализм» и «антиглобализм», сегодня равным образом можно отождествить как с толерантностью, так и с фундаментализмом. Следствием этого становится «громкая» неоднозначность, противоречивость целого ряда явлений западноевропейской политической жизни, в частности победа на выборах в Австрии партии Йорга Хайдера или «проблема» немецкого министра иностранных дел Йошки Фишера (еще

более громкий пример, конечно же, агрессия НАТО в Югославии). Даже вечные неконформисты левого толка, такие как французский социолог Пьер Бурдьё или немецкий писатель Гюнтер Грасс, вполне справедливо могут назвать себя борцами за толерантность против фундаменталистской глобализации. И тогда выступающий за социальный диалог, т. е. в определенном смысле за глобализацию, Юрген Хабермас, конечно, окажется «фундаменталистом». Столь же противоречиво и отношение ко всему тому в социальной жизни, что демонстрирует свою «ментальность». С одной стороны, ментальность — это нечто декоративное или экзотическое, и отношение к ней в таком случае не просто толерантное, но как бы сущностно толерантное: именно **такое** отношение к **большой, радикальной** инаковости есть некая **наиболее общая** толерантность, детерминирующая все частности. С другой же стороны, стоит ментальности позабыть о своей декоративности и экзотичности или толерантности просто заподозрить ее в этом, как тут же ментальность становится фундаментализмом.

Кажется, именно в этом проблемном поле оказывается сегодняшнее отношение западноевропейцев к России, формируемое средствами массовой информации, в свою очередь ориентирующимися на те идентификации символического порядка и их интерпретации, которые преподносятся социологами. В самой же России, в «России-в-себе», в той российской ментальности, которая — не столько как «псевдоморфоза» Запада, сколько согласно законам собственной истории, впрочем всегда учитывавшим все, что происходит по соседству, — страстно желает сегодня стать идентичностью, происходят разнообразные динамичные события. Одним из векторов этой динамики, на наш взгляд, является развивающийся конфликт между двумя «текстами»: первый из этих «текстов» — фундаментальное, непререкаемое со времен падения Византии и принятия ее миссии Московским царством неразрывное, слившееся сосуществование аскетичного, карающего «верха» и фольклорного, пронизанного бессознательной ментальностью «низа»; второй «текст» — это пришедшая на место карающей аскетичности, всегда черно-бело трактующей жизнь, мифология плюрализма (тяготеющая к толерантности и соответственно к идентичности), напряженно, конфликтно сосуществующая все с тем

же ментально-фольклорным «низом». Православие, в Византии развивавшееся естественно, в синхронном согласии со всеми другими явлениями социальной жизни, перейдя на русскую почву, вступило с этой почвой в конфликт, который постепенно превратился в не то чтобы мирное сосуществование (вспомним опричнину, церковный раскол, реформы Петра, ленинско-сталинский «социализм», наконец, нашу новейшую ельцинскую эпоху с ее идущей, как всегда, «сверху» однозначной идеологией), но в узаконенное в самой ментальности сосуществование идеологического «старшего» и фольклорного «младшего» братьев.

Наиболее адекватно, с полным отсутствием затуманивающей картину рефлексии, эта слившаяся жизнь двух полюсов отражена, на наш взгляд, в советской киномифологии 30–40-х гг. В большинстве фильмов этого периода на больших и малых уровнях повествования прочитывается непрерываемая связь «партийности» в качестве аскетического «верха» и «народности» в качестве фольклорного «низа» (яркий пример — финальный эпизод «Падения Берлина», в котором монументальный Сталин, приземлившийся в День Победы на своем монументальном самолете прямо на площадь перед поверженным рейхстагом, «заземлился» еще раз, слившись в патетическом ритуале узнавания и благословения с узнанным им в огромной толпе воинов-победителей «народно-фольклорным» героем Бориса Андреева). В нашей же повседневной жизни мы и сегодня постоянно сталкиваемся с этим явлением ментальности, взять хотя бы «ритуал» производственного совещания с его неизменным элементом — матерной речью (в качестве карнавального «младшего брата» производственно-начальственного «ритуала» непременно выступает «ритуальная» матерщина интеллигентского общения).

В российской истории не раз совершались покушения на такое состояние ментальности, но, кажется, окончательный кризис начался в 70–80-е гг. прошлого века. Совсем не случайно в эти годы появляются «пессимистические», наполненные тревогой литературные произведения Юрия Трифонова и Владимира Маканина, Александра Вампилова и писателей-«деревенщиков»; главными героями экрана становятся плачущие, мечущиеся, «плохие хорошие» персонажи Олега Даля, Алек-

сандра Калягина, Олега Янковского. «Кризис сорокалетних» тех лет, будучи кризисом советской идентичности, дававшей человеческой жизни осмысленную стратегию, в то же время стал началом гораздо более масштабного кризиса той ментальности, которая, кажется, до дна исчерпала свои возможности воспроизводства «идентичностей». По-видимому, были исчерпаны возможности **определенной формы** компромисса между восточной установкой на традиционализм и западной осевой установкой на развитие, которую как раз и поддерживала возникшая во времена принятия православной миссии от Византии оппозиция идеологического «верха» и народно-фольклорного «низа».

Однако впервые с **такой необходимостью** явившийся нам плюрализм, вытесняя аскетичную черно-белую идеологию, вступает в пока еще не оформившийся в идеологическое противостояние, но очевидный конфликт с неотчужденным в «экзотику» народно-фольклорным «низом», ибо этот «низ» не в состоянии существовать без своего «верха», своего «хозяина», своего alter ego.

Г. С. Радич

Уральский университет (Екатеринбург)

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Проблемы взаимодействия России и стран Западной Европы волнуют общественное сознание россиян со времен Петра Великого. Особую актуальность они приобрели ныне, в период всеобщей глобализации. Во многих процессах интеграции России и западного мира мешают стереотипы, укоренившиеся в массовом сознании. Запад пугает непредсказуемость русских — «загадочность души», склонность к максимализму. С другой стороны, россияне, «глядясь в зеркало европейской цивилизации», продолжают уверять себя в своем особом предназначении и небуржуазной ментальности.